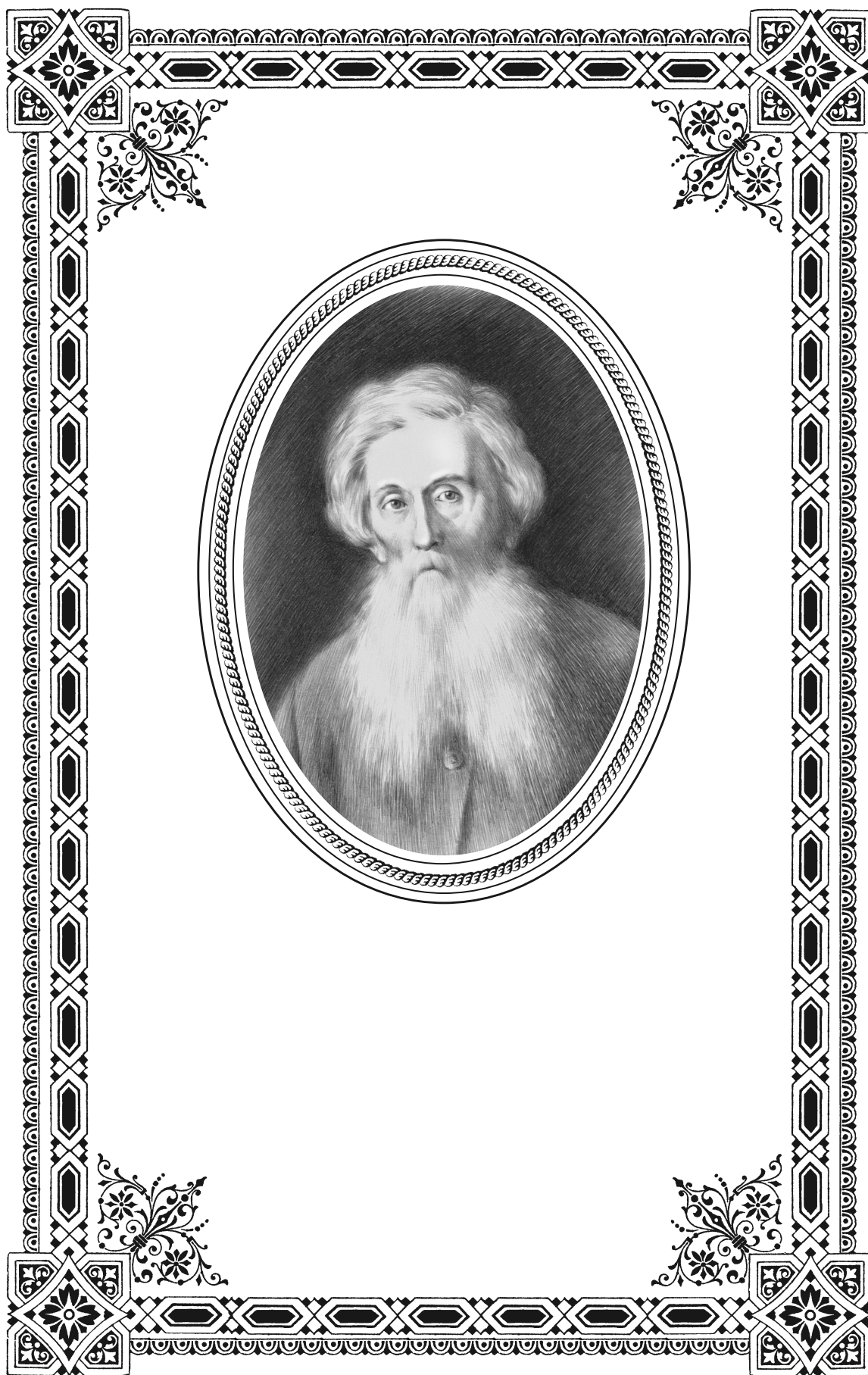


З О Л О Т А Я К О Л Л Е К Ц И Я







В. И. Даль



ТОЛКОВЫЙ
СЛОВАРЬ
ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО
ЯЗЫКА



I
ТОМ

РИПОД
КЛАССИК

Москва, 2016

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Предпринимая попытку приблизить к нормам современного русского правописания бессмертный труд В. И. Даля, мы преследуем цель прежде всего вернуть это великое произведение широким слоям читателей: школьникам, студентам, журналистам, литераторам, просто всем тем, кому небезразлична судьба родного языка, кто хотел бы совершенствовать свою речь, говорить грамотно, образно, понятно.

О пользе и месте словарей в жизни каждого культурного человека и народа в целом сказано немало. К сожалению, сказанное далеко не всегда доходит до сознания, даже если оно ярко и образно, как например эти слова М. Волошина:

«Надо любить словари, потому что это сокровищницы языка.

Слова от употребления устают, теряют свою заклинательную силу. Тогда необходимо обновить язык, взять часть от древних сокровищ, скрытых в тайниках языка, и бросить их в литературу».

Трудно, казалось бы, не согласиться с поэтом, однако же не из древних сокровищ, не из «тайников языка», а совсем из других, не всегда кристальных, источников, явились на свет все эти инаугурации (торжественная присяга), консенсусы (согласие), секвестирования (обрезание), саммиты (собрание), криминальные структуры (банды), полевые командиры (главари), всевозможные администрации, муниципальные образования, маргиналы, промоутеры, провайдеры и т. д. и т. п. Впрочем, об этом писал еще В. И. Даль, приводя, правда, иные примеры (см. «Напутное слово» в настоящем издании).

Внести свою скромную лепту в дело сохранения и развития живого, образного русского языка стремились и мы, предпринимая это издание. Мы попытались приблизить «Словарь живого великорусского языка» к живому читателю, бережно сохранив в нем все, что остается понятным. Поэтому наше вмешательство касается в основном азбуки и грамматики: мы исключили буквы *і, ѣ, ѳ, ј*, заменив их буквами *и, е, ф, и*, убрали твердый знак в окончаниях слов, привели к современной норме родительный падеж множественного числа, правописание местоимений, числительных, сделали ряд незначительных поправок, касающихся правописания двоянных согласных, слитного и раздельного написания наречий, частицы *не* и т. д.

Все остальное мы постарались сохранить, рассудив, что читатель всегда сумеет распознать непривычную ныне форму слова в контексте всего предложения, благодаря многочисленным примерам его употребления, приведенным в словаре.

В нашем издании сохранены сокращения слов, пусть и далекие от нынешних норм, но вполне понятные и оговоренные автором в последней части «Напутного слова»; оставлена почти без вмешательства пунктуация В. И. Даля: это еще один мостик между прошедшим и настоящим, как и ряд устаревших форм слов — если привести их к современным нормам, словарь перестанет быть литературным памятником, утратит то, что делает его уникальным в истории русской культуры: богатство интонаций, живость языка, необыкновенную пластичность и образность живой разговорной русской речи, зафиксированные В. И. Далем и бережно донесенные до нас.

И последнее. Словарь В. И. Даля не является нормативным. Он не заменит современных толковых, орфографических и грамматических словарей. Это справочник по разговорному языку XIX века, пособие тем, кто занимается изучением языка и просто увлекательное чтение для всех. Надеемся, что именно так отнесутся к нашему изданию читатели.

НАПУТНОЕ СЛОВО

(Читано в Обществе Любителей Русской словесности в Москве, 21 апреля 1862 г.)

Во всяком научном и общественном деле, во всем, что касается всех и требует общих убеждений и усилий, порою проявляется ложь, ложное, кривое направление, которое не только временно держится, но и берет верх, пригнетая истину, а с нею и всякое свободное выражение мнений и убеждений. Дело обращается в привычку, в обычай, толпа торит бессознательно пробитую дорожку, а коноводы только покрикивают и понукают. Это длится иногда довольно долго; но, взглядываясь в направление пути и осматриваясь кругом, общество видит наконец, что его ведут вовсе не туда, куда оно надеялось попасть; начинается ропот, сперва вполголоса, потом и вслух, наконец подымается общий голос негодования, и бывшие коноводы исчезают, подавленные и уничтоженные тем же большинством, которое до сего сами держали под своим гнетом. Общее стремление берет иное направление, и с жаром подвизается на новой стезе.

Кажется, будто бы такой переворот предстоит ныне нашему родному языку. Мы начинаем догадываться, что нас завели в трущобу, что надо выбраться из нее по-здоровому и проложить себе иной путь. Все, что сделано было доселе, со времен петровских, в духе искажения языка, все это, как неудачная прививка, как прищипа разнородного семени, должно усохнуть и отвалиться, дав простор дичку, коему надо вырасти на своем корню, на своих соках, сдобриться холей и уходом, а не насадкой сверху. Если и говорится, что голова хвоста не ждет, то наша голова, или наши головы умчались так далеко куда-то в бок, что едва ли не оторвались от туловища; а коли худо плечам без головы, то некорыстно же и голове без туловища. Применяя это к нашему языку, сдается, будто голове этой приходится либо оторваться вовсе и отвалиться, либо опомниться и воротиться. Говоря просто, мы уверены, что русской речи предстоит одно из двух: либо испощлеть донельзя, либо, образуясь, своротить на иной путь, захватив при том с собою все покинутые второпях запасы.

Взгляните на Державина, на Карамзина, Крылова, на Жуковского, Пушкина и на некоторых нынешних даровитых писателей, не ясно ли, что они избегали чужеречий; что старались, каждый по своему, писать

чистым русским языком? А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладою он к ней прислушивался, как одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать созерцания свои шумным взрывом одобрений и острых замечаний и сравнений — я не раз бывал свидетелем.

Вот в каком отношении пишуший строки эти полагает, что пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный. Народный язык был доселе в небрежении; только в последнее время стали на него оглядываться, и то как будто из одной снисходительной любознательности*. Одни воображали, что могут сами составить язык из самоделковых слов, скованных по образцам славянским и греческим; другие, вовсе не заботясь об изучении своего языка, брали готовые слова со всех языков, где и как ни попало, да переводили дословно чужие обороты речи, бессмысленные на нашем языке, понятные только тому, кто читает нерусскую думою своею между строк, переводя читаемое мысленно на другой язык.

Знаю, что за мнение это составителю словаря несдобровать. Как сметь говорить, что язык, которым пишут оскорбленные таким приговором писатели, язык нерусский? Да разве можно писать мужицкою речью Далева словаря, от которой издали несет дегтем и сивухой, или по крайности квасом, кислой овчиной и банными вениками?

Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя, это доказали все, решавшиеся на такую попытку, и в том числе, может быть, и сам составитель словаря; но из этого вовсе не следует, чтобы должно было писать таким языком, какой мы себе сочинили, распахнув ворота настежь на Западе, надев фрак и заговорив на все лады, кроме своего; а из этого следует только, что у нас еще нет достаточно обработанного языка, и что он, не менее того, должен выработаться

* В этом отношении за Русской Академией большая заслуга: издание областного словаря: но он издан сырым, как запасы были доставлены, без всякой критики. Это не труд ученого братства, а весьма важный подарок, не входившего в рассмотрение рукописи, издателя.

из языка народного. Другого, равного ему источника нет, а есть только еще притоки; если же мы, в чаду обаяния, сами отсечем себе этот источник, то нас постигнет засуха, и мы вынуждены будем растить и питать свой родной язык чужими соками, как делают растения тунейные, или прищепой на чужом корню. Пусть же всяк своим умом рассудит, что из этого выйдет: мы отдалимся вовсе от народа, разорвем последнюю с ним связь, мы испошлеем еще более в речи своей, отстав от одного берега и не пристав к другому; мы убьем и погубим последние нравственные силы свои в этой упорной борьбе с природой, и вечно будем тянуться за чужим, потому что у нас не станет ничего своего, ни даже своей самостоятельной речи, своего родного слова.

Не трудно подобрать несколько пошлых речей или поставить слово в такой связи и положении, что оно покажется смешным или пошлым, и спросить, отряхивая белые перчатки: этому ли нам учиться у народа? Но, не гаерствуя, никак нельзя оспаривать самоистинны, что живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, целостность и красоту, должен послужить источником и сокровищницей, для развития образованной русской речи, взамен нынешнего языка нашего, каженика.

Откуда мы взяли *исправленный* нами язык, где родился он, в книгах или в устном говоре? Можно ли отречься от родины и почвы своей, от основных начал и стихий, усиливаясь перенести язык с природного корня его на чужой, чтобы исказить природу его и обратить в растение тунейное, живущее чужими соками?

Если ныне кто вздумает писать по-русски, то либо спочину же умолкает под свистками коноводов, которых брезгливые уши к такой речи непривычны, либо сам на первых же порах осекается, не доискавшись слова. У нас нипочем путать *обознаться* и *опознаться*, *обыденный* и *обиходный*, и, не чая за собой греха, высказать противное тому, что хотел... Я не выдумываю, а привожу бывалые и недавние примеры, и прошу указать мне, на каком другом языке писатель, зная в таком размере язык свой, осмелится взяться за перо? В романе «*Путеводитель в пустыне*», по-русски «*Степной вожак*», есть прозвище *Открыватель следов*, и это такой же выродок грамотейства, как самое заглавие, грамотейства, которое становится на ходули, или по крайности подбочивается, взявшись за перо: английское *pathfinder* в точности переводится русским *выследчик*; но, во-первых, в словарях наших нет ни *выследчика*, ни даже глагола *выслеживать*, *выследить*; во-вторых, английское составлено из двух слов, стало быть, и нам надо, бросив свое слово или даже и не ища его, сковать новое, из двух же, а затем, указывая на уродливое детище свое, попенять на неуклюжесть русского языка! Два русских профессора озаглавили книгу свою: «*Обыденная жизнь*», вместо *обиходная*; *обыденная* значит: суточная, однодневная, откуда и церкви, срубленные по обету в один день, общею помощью, называются *обыденными* (в Москве, в Вологде); *обыденки* — сутки, день, и обыденками зовут мух или мотыльков, живущих сутки с небольшим, эфемеры*...

Но что об этом широко толковать — эти примеры вспали мне на ум; не стоит ртыть за ними и терять

попусту дорогое время, а можно бы найти не сотни, а тысячи подобных. Что же выйдет из речи нашей, если мы пойдем зря и без оглядки этим путем? — не понимая ни русской речи, ни друг друга, мы станем людьми без речей, бессловесными, или же поневоле будем объясняться по-французски. Решите, что это хорошо, и продолжайте.

Но лучше не станем оправдываться в поголовном грехе своем — у нас же пришла ныне пора покаяния, — а скажем просто и прямо, как дело есть, что пишем так, как пишется, не потому, чтобы это было хорошо, полезно и красиво, а что так, видно, было нам доселе на роду написано; в молодости негде и некогда было научиться по-русски, а возмужав, нам стало и лень, и опять-таки негде и некогда. Да, за недосугом, когда-нибудь без покаяния умрешь!

Но с языком, с человеческим словом, с речью, безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека — это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом: без слов нет сознательной мысли, а есть разве одно только чувство и мычание. Дух не может быть порочен, в малоумном та же душа — ума много, да вон нейдет; отчего? Вещественные снаряды служат ему превратно, они искажены; дух ими пригнетен, он под спудом, а без вещественных средств этих, в вещественном мире, дух ничего сделать не может, не может даже проявиться.

Какой ученый немец поверил бы, лет за двести, что язык его, разве за малыми изытиями, вовсе не нуждается в латыни с немецким окончанием? А между тем дело обошлось, благодаря отрезвившимся от мороки делателей; истина устояла, а ложь погибла. Перед нами же и другой, обратный пример: у соседей наших, братьев одного корня, славянский язык слился с западными языками и образовал новый язык, обильный принятыми в себя источниками; но от этого насилия его обдало мертвизною, и он окоснел, что ярко выразилось утратою им своего слогаударения, которое раз и навсегда замерло на предпоследней гласной.

Не знаю, насколько мне надседаюсь удасть убедить в истинах этих читателя, но знаю, что они укрепились во мне с тех пор, как я начал сознательно жить; иначе, конечно, не стало бы меня на то, чтобы отдать полжизни некорыстному труду, коего конца я никогда не чаял увидеть...

И вот с какою целью, в каком духе составлен мой словарь: писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто более многих над ним трудился; ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, *живого русского языка*. Много еще надо работать, чтобы раскрыть сокровища нашего родного слова, привести их в стройный порядок и поставить полный, хороший словарь; но без подносчиков палаты не строятся; надо приложить много рук, а работа черна, невидная, некорыстная...

С той поры, как составитель этого словаря себя помнит, его тревожила и смущала несообразность письменного языка нашего с устною речью простого русского человека, не сбито с толку грамотей-

* Искренне прошу извинения у писателей, всеми уважаемых, но заставивших меня указать на эти примеры. Примеры нужны, и они вдвое убедительнее, коли относятся до лиц известных; лично их, право, винить нельзя, все мы в одинаковом положении — так наша печь печет!

ством, а стало быть, и с самим духом русского слова. Не рассудок, а какое-то темное чувство строптиво упиралось, отказываясь признать этот нестройный лепет, с отголоском чужбины, за русскую речь. Для меня сделалось задачей выводить на справку и поверку: как говорит книжник, и как выскажет в беседе ту же доступную ему мысль человек умный, но простой, неученый, — и нечего и говорить о том, что перевес, по всем прилагаемым к сему делу мерилам, всегда оставался на стороне последнего. Не будучи в силах уклониться ни на волос от духа языка, он поневоле выражается ясно, прямо, коротко и изящно.

Жадно хватая на лету родные речи, слова и обороты, когда они срывались с языка в простой беседе, где никто не чаял соглядата и лазутчика, этот записывал их, без всякой иной цели и намерения, как для памяти, для изучения языка, потому что они ему нравились. Сколько раз случалось ему, среди жаркой беседы, выхватив записную книжку, записать в ней оборот речи или слово, которое у кого-нибудь сорвалось с языка — а его никто и не слышал! Все спрашивали, никто не мог припомнить чем-либо замечательное слово — а слова этого не было ни в одном словаре, и оно было чисто русское! Прошло много лет, и записки эти выросли до такого объема, что, при бродячей жизни, стали угрожать требованием особой для себя подводы*. Пришлось призадуматься над ними, и решить, хлам ли это, с которым надо развязаться, свалив его в первую сорную яму, или хлам этот ряд делу и с добрым притвором пойдет в квашню, и даст хлеба, и насытит?

Просмотрев запасы свои, собиратель убедился, что в громаде сору накопилось много хлебных крупич, которые, по русскому поверью, бросать грешно. Началась разборка в азбучном порядке**, и, за отделением небольшого числа песен (переданных П. В. Киреевскому) и нескольких стоп сказок (отданных Г. Афанасьеву), вышло на очистку десятка два кип в лист, относящихся до языка, пословиц, слов и оборотов речи. Что с ними делать? Обработать и издать в виде запасов или прибавления к словарям — работы много, а толку мало; выйдет ни то ни се, да и пригодное разве тому только, кто бы сам стал работать сло-

варь; покинуть не обрабатывая — жаль, сердце не к тому лежит; передать кому-нибудь, кто бы смог и захотел заняться этим делом — так нет в виду таких людей, да и половины кратких заметок моих никто без меня не поймет; хорошо бы приискать товарища, к которому, вместе с запасами своими, можно было бы примкнуть помощником и работать вместе — но, сколько ни думал, такого человека не знаю.

Один из бывших министров просвещения (кн. Шихматов), по дошедшим до него слухам, предложил мне передать академии запасы свои, по принятой в то время расценке: по 15 коп., за каждое слово, пропущенное в словаре академии, и по 7 ¹/₂ коп., за дополнение и поправку. Я предложил, взамен этой сделки, другую: отдаться совсем, и с запасами, и с посильными трудами своими, в полное распоряжение академии. Не требуя и даже не желая ничего, кроме необходимого содержания; но на это не согласились, а повторили первое предложение. Я отправил 1000 прибавочных слов и 1000 дополнений, с надписью: *тысяча первая*. Меня спросили, много ли их еще в запасе? Я отвечал, что верно не знаю, но во всяком случае — десятки тысяч. Покупка такого склада товара сомнительной доброты, по-видимому, не входила в расчет, и сделка оборвалась на первой тысяче.

Что же дальше делать? очевидно, надеяться на Бога да на себя, и самому приниматься за дело; я зашел слишком далеко, и деваться некуда, бросать всех запасов этих нельзя.

Собиратель не пугался того, что на дело это едва ли станет всего остатка жизни его, предоставив раз и навсегда заботу о жизни и смерти провидению; но он робел перед трудностью задачи, считая ее непосильною для себя, и потому счел нужным обсудить и взвесить наперед беспристрастно силы и средства свои, то есть познания и способности. Оказалось на поверку, что первых, для глубокого, ученого труда, было недостаточно, и именно недоставало общих познаний языковедения и основательного знания прочих славянских языков и наречий; недоставало даже и того, что у нас называют основательным знанием своего языка, то есть научного знания грамматики, с которою составитель словаря искони был в каком-то разладе, не умея применить ее к нашему языку и чуждаясь ее, не столько по рассудку, сколько по какому-то темному чувству опасения, чтобы она не сбила его с толку, не ошелолила, не стеснила свободы понимания, не обузила бы взгляда. Недоверчивость эта основана была на том, что он всюду встречал в русской грамматике латинскую и немецкую, а русской не находил.

Вот чего, по обсуждению его самого, ему недоставало; а нашлось зато, во-первых, большой склад запасов, не вошедших доселе в наши словари; во-вторых, сильное сочувствие к живому русскому языку, как ходит он устно из конца в конец по всей нашей родине, и некоторое понимание его, близкое с ним знакомство, могущее, хотя в одном этом направлении, заменить ученость; нашлась наконец и любовь к нему, ручавшаяся за одоление труда, за стойкую, усидчивую работу над этим делом, по конец жизни. Кроме сего, разнородность занятий и службы: морской, военной, врачебной, гражданской, в различных

* Живо припоминаю пропажу моего вьючного верблюда, еще в походе 1829 года, в военной суматохе, перехода за два дня Адрианополя: товарищ мой горевал о любимом кларнете своем, доставшемся, как мы полагали, туркам, а я осиротел с утратою своих записок, о чемоданах с одеждой мы мало заботились. Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне обильные запасы для изучения языка, и все это погибло. К счастью, казаки подхватили где-то верблюда, с кларнетом и с записками, и через неделю привели его в Адрианополь. Бывший при нем денщик мой пропал без вести.

** Сделаю при сем пустую, но важную в приемах такого дела, заметку: все подобные сборники должны писаться вчерне, в записках, на одной только странице, покидая другую пробелом; тогда можно в свое время расстричь их и подобрать в каком угодно порядке, нанизывая или приклеивая столбцами. Если об этом не подумать вовремя, то придется переписывать снова по крайней мере целую половину запасов, что отнимет много времени и может прибавить несколько ошибок и описок.

частях низшего управления, наклонность к наукам естественным и ко всем ремесловым работам, ознакомили его, по языку и по понятиям, с бытом разных сословий и состояний, наук и знаний.

Сведя итоги всех данных, собиратель приободрился. Всего одному не дано, да и не обнять, а дана всякому своя часть, свой талант, который он и обязан пускать в оборот, а не зарывать вместе с собою в землю. Кому много дано, с того много и взыщется. Найдутся более даровитые и ученые труженики, которым уже легче будет дополнить, чего недостает, найдя одну часть дела готовую. Может быть, именно тот, кто успешно введет в русский словарь сравнения со всеми славянскими наречиями, кто вставит и наш древний язык, и указания на начальные корни, может быть, он-то именно и затруднился бы составлением той части, которая образует основу и сущность моего словаря; во всяком же случае, дополнять и исправлять полегче, чем составлять вновь. Передний заднему мост.

Итак, ограничься теми средствами и силами, какие нашлись, и положив живой, устный язык русский, а паче народный, в основу своего труда, собиратель решился приступить к делу.

Но, полагая народный язык в основу словаря — потому что язык этот силен, свеж, богат, краток и ясен, тогда как письменный язык наш видимо пошлеет, превращаясь в какую-то пресную размазню, — должно было наперед рассудить, как смотреть на все местные наречия или говоры, из которых язык народный слагается?

По нашему мнению, дело это просто и ясно: за исключением, на юге и западе, ближайшего соседства Малой и Белой Руси, у нас, на всю ширь Великой Руси, нет *наречий*, а есть разве одни только *говоры*. Говор отличается от языка и наречия одним только оттенком происхождения, с сохранением нескольких слов старины и с прибавкою весьма немногих, образованных на месте, речений, всегда верных общему духу языка. У нас вовсе нет того, что другие народы зовут *жаргоном*, чему у нас нет даже и названия, то есть наречия искаженного, картавого, порождения племени, принявшего, по обстоятельствам, чужой язык и обработавшего его по-своему; у нас есть нечто подобное только у полуобрусевших инородцев, да и те, особенно чудские племена, удивительно быстро русеют, и тогда вполне усваивают себе дух нашего языка. Наши местные говоры — законные дети русского языка и образованы правильнее, вернее и краше, чем наш письменный *жаргон*. В сем отношении мы поставлены в более счастливое положение, чем западные европейцы, но доселе, обойденные лешим пристрастия, подражания и тщеславия, избалованные привозом всего готового из-за моря, мы небрегли своим, в чаянии, что и готовый, обработанный, развитый язык, без которого образованному обществу и жить и быть нельзя, подвезут нам оттуда же, заодно с винами и чепцами.

Напишите слово, называемое вами областным, как мы вообще пишем, не подделываясь под говор, а как оно, по образованию своему, должно писаться, и смело ставьте его на свое место, в общий великорусский словарь. Изъятий найдется немного и там только, где какая-либо чуждая, побочная стихия внесла искажения, чему примером могут служить губернии

Псковская и отчасти Тверская; там попадают переделки на польский или белорусский лад и слышна поныне *Литва*, как в Новороссийском крае всюду отзывается наречие малорусское. Но и это относится только до нескольких слов, а оборотам русской речи можем поучиться во всякой местности Руси, во всякой деревушке, во всякой лачуге.

Предвидя, что слова эти будут перетолкованы, повторю, для людей добронамеренных, что вовсе не утверждаю, будто вся народная речь, ни даже все слова речи этой должны быть внесены в образованный русский язык; я утверждаю только, что мы должны изучить простую и прямую русскую речь народа и усвоить ее себе, как все живое усваивает себе добрую пищу и претворяет ее в свою кровь и плоть.

Вот почему так называемые областные слова, нередко общие весьма различным и отдаленным друг от друга говорам и местностям, вошли в этот словарь, и притом, как замечено было кем-то с крайним изумлением, нередко рядом с самыми крутыми французскими словами, кои, в азбучном порядке, пришлось бок о бок с вятскими и рязанскими. Но не я вводил первые в печатный язык, и не моя воля изгнать их; а куда же я их дену, коли не на свое место, по азбучке?

Итак, этот вопрос не заставил делателя призадуматься: слова, речи и обороты всех концов Великой Руси, для изучения живого языка, должны войти в словарь, но не для безусловного включения их в письменную речь, а для изучения, для знания и обсуждения их, для изучения самого духа языка и усвоения его себе, для выработки из него постепенно своего, образованного языка. Читатель, а тем паче писатель, сами разберут, что и в каком случае можно принять и включить в образованный язык. Но нашлись другие заботы, другое раздумье, которое решить было не так легко и просто: какой вид придать словарю, как его обработать, в каком, из принятых для словарей, порядке?

Одноязычные словари доселе составлялись двояко: либо все, без изъятия, слова подбирались подряд в азбучном порядке, и каждое слово объяснялось по себе, будто иных прочих и не бывало, либо слова подбирались целыми ватагами под один общий корень.

Первый способ крайне туп и сух. Самые близкие и сродные речения, при законном изменении своем на второй и третьей букве, разносятся далеко врозь и томятся тут и там в одиночестве; всякая живая связь речи разорвана и утрачена; слово, в котором не менее жизни, как и в самом человеке, терпнет и коснеет; одни и те же толкования должны повторяться несколько раз; читать такой словарь нет сил, на десятом слове ум притупеет и голова вскружится, потому что ум наш требует во всем какой-нибудь разумной связи, постепенности и последовательности. Притом, на какую потребу идет такой словарь? Мертвый список слов не помощь и не утеха; одноязычный словарь пишется не для школьников и не для иноземцев, и потому разве изредка только русскому человеку могло бы случиться отыскивать встреченное где-либо, неизвестное ему, русское слово, и один этот довольно редкий случай не вознаградил бы ни трудов составителя, ни даже самой покупки словаря.

Второй способ, корнесловный, очень труден на деле, потому что знание корней образует уже по себе целую науку и требует изучения всех сродных языков, не исключая и отживших, и при всем том основан на началах шатких и темных, где без натяжек и произвола не обойдешься; сверх сего порядок корнесловный, при отыскании слов, предполагает в писателе и в читателе не только равные познания, но и одинаковый взгляд и убеждения, насчет отнесения слова к тому либо другому корню. В таком словаре, не только *брать*, *бранье*, *бирка* и *бирюлька* войдут в одну общую статью, но тут же будет и *беремя*, и *собирать*, *выбирать*, *перебор*, *разборчивый*, *отборный*, и одним словом, в каждую статью, под общий корень, войдет чуть ли не вся азбука. Это требует особого, объемистого указателя и заставляет отыскивать каждое слово по дважды, а потому и докучает, и утомляет. Корнесловный словарь может только повершить ряд словарей вполне обработанного розысками языка, как особый ученый труд, по заготовленным запасам; но, как противоположная азбучному словарю крайность, он для обихода также неудобен.

Обсудив все это и сделав несколько неудачных попыток в том и другом роде, составитель снова обратился к азбучному порядку, не видя иного исхода из этой раздорожицы. Ведь словари на всех языках составлены же этим порядком, стало быть это находят удобным... беру опять такой словарь в руки, перелистываю его день и другой — но наконец, с тревожным чувством, откладываю его в сторону. Нет, такой словарь мне не рука. Как я его пушу в дело, как вызову из него и отрою все сокровища, сокрытые в двух досках? Найти слово, которого у меня не хватает, я не могу; просмотреть сряду слова, самые близкие и сродные, чтобы освоиться с основным значением слов этого корня, отыскать под общим, родовым понятием нужные мне выражения, оглянуть закон и порядок словопроизводства, чтобы осмыслить речь свою, — не могу, все раскинуто врозь; одним словом, это не словарь, а то, что называют *вокабулами*, это список, сборник слов, для затвержения наизусть, поднизка слов, без связи и смысла, для крайне ограниченного употребления, и более для иностранца, чем для русского.

Но, взглядываясь в эти бесконечные столбцы слов, видишь наконец, что с небольшою перетасовкой и за исключением малого числа речений, примешавшихся со стороны и забившихся, по азбучному праву, промеж чужой им семьи, все остальные, целыми купами, показывают очевидную семейную связь и самое близкое родство; устранив понятие о корнях, в том широком смысле, как ученые его понимают, никто, например, не усомнится, что *стоять*, *стойка* и *стоило*, одного гнезда птенцы; да сверх того у них и первые три начальные буквы одни и те же; а между тем они, по четвертой букве своей, разнесены врозь (Слов. Акад.) на семь печатных столбцов! Рассматривая эти родственные отношения ближе, мы находим, что такая связь представляет в нашем языке особый и общий закон, который дает нам неизменные правила образования слов звеньями, цепью, гроздами, так же точно, как мы по общему правилу образуем от глагола причастия, а от них наречия.

В самой вещи, не вдаваясь ни в розыски о корнях, ни в умствования о том, какая часть речи родилась

прежде, а какая после, мы видим в языке своем следующую, не подлежащую сомнению, связь и сродство слов.

Глагол, в одном, в двух или трех, а иногда и четырех видах, с причастиями своими (прилагательными), наречиями от них и существительными на *ость*; тот же глагол, с окончанием на *ся*; тот же глагол, с заменой в конце буквы *и* буквою *е*; четыре имени (иногда менее, изредка более), выражающие действие по глаголу, а два из них также самый предмет; от одного до пяти прилагательных, удерживающих все то же понятие глагола, но разнообразящих приложение окончаниями своими; наречия от сих прилагательных; существительные от них, означающие свойство, состояние по ним; еще имена, выражающие не действие, а предмет, как следствие действия, и самого деятеля, лицо; еще прилагательные, от этих имен, и наконец, иногда еще глагол, с каким либо особым оттенком от значения глагола начального, чем и повершается весь кругооборот слов одной семьи.

Здесь означены только главные члены целого поколения, а в иной семье попадает еще много промежуточных, как видно из любой статьи нашего словаря. Сюда относятся имена второго колена, на *ак*, *ец*, *ыш*, *рок*, *анка*, *инка*, также наречия (кроме произведенных от прилагательных) двух видов: своеобразные (*торчмя*) и творительным падежом (*торчком*) и пр.; и затем, наконец, слова сложные, составные. Замечательна легкая подвижность этих построений и жизненная связь их со смыслом. Где только дозволяет смысл, там от глагола может быть образовано требуемое слово, по неизменному правилу; где такое образование противно духу языка или самому смыслу, там язык наш упорно от сего отказывается, а будучи изнасилован, дает слова тяжелые, противные слуху и чувству, без всякой силы и значения. Вот почему мы, заглушив в себе природное, бессознательное чутье к своему языку, лишаемся и силы и способности владеть им и впадаем в оскорбительные для духа языка, мертвящие ошибки. Слово *мертвящие* напомнило мне именно один из таких примеров: Думая не на своем языке и передавая мысли свои в переводе, мы невольно ищем слов, подходящих складом к речениям иноязычным; нам, например, понадобилось образовать из прилагательного *мертвый* имя, придав ему еще особый оттенок значения, не умершего, а окованного мертвящею силой, оцепенелого; по примеру: *спертость*, *черствость*, надо бы сказать *мертвость*; но мы на грех на этот пример не напали, а взяли за образец: *бренность*, *откровенность*, и пустили в ход словцо *мертвенность*. Неправильное образование этого слова дерет ухо, да сверх того, окончание *ость* почему-то противится требованию выразить состояние обмершего, а выражает исконное состояние; вот почему и *мертвость*, образованное правильно, не совсем отвечает делу; для выражения этого понятия надо было бы взять слово иного образования и окончания, и сказать: *мертвѣзна*, и оно бы высказало ясно то, что было на уме писателя. Не сделаются ли отношения эти яснее, не усвоим ли мы себе легче утраченный нами дух языка, при том гнездовом или семейном порядке составления словаря, какой читатели видят ныне перед собою?

При расположении слов гнездами, я обычно начинаю с глагола, но иногда имя взяло в гнезде своем

такой перевес, что пушено вперед. Есть много случаев, где глагол устарел, или даже вовсе утрачен, а производные слова полным чередом сохранились. Это, впрочем, все равно, закон языка таков, что одно вовсе не может быть без другого, и не только глагол или имя, но и все гнездо слов, так сказать, появляется зараз. Коли есть глаголы: *ходить, сидеть, лежать*, то есть и *ход, хождение, и сидка, сиденье, и лежка, лежанье* и пр. Поставлю ли я наперед: *основывать, основать*, и уже затем: *основыванье, основание, основ, основа*, или начну с *основ*, все после глагола должны следовать имена, выражающие действие его, а частью и предмет, и выпустить здесь одно из них, принятое за родоначальника семьи, неудобно, а оно должно бы повториться; затем следует и вся ватага прочих частей речи, как показано было выше. В единичестве стоят только слова чужие или заходящие, если они не усвоены и не переделаны со всем потомством своим на русский лад, также иные наречия, предложные слова, да числительные имена и частицы. Из тех и других, впрочем, нередко также образуются глаголы, рождающие, по общему закону языка, целый ряд слов производных. Из *три* выходит *троить*, из гл. *троить*: *троение, тройной, тройка*, и пр.; из *ах* или *ох*, делается *ахать, охать*, а затем: *аханье, ахальный, ахала, ахальщик* и пр. Эта семья или гнездо слов полнее у предложных глаголов, которые вообще выражают порре, определительнее, прикладнее, а потому и более слышны в речи.

Кажется, будущая грамматика наша должна будет пойти сим путем, то есть, развить наперед законы этого словопроизводства, разумно обняв дух языка, а затем уже обратиться к рассмотрению каждой из частей речи. В деле этом такая жизненная связь, что брать для изучения и толковать отрывочно части стройного целого, не усвоив себе наперед общего взгляда, то же самое, что изучать строение тела и самую жизнь человека по раскинутому в пространстве волокнам растерзанных членов человеческого трупа. Как верно схвачена была К. С. Аксаковым, при рассмотрении им глаголов, эта жизненная, живая сила нашего языка! Глаголы наши никак не поддаются мертвящему духу такой грамматики, которая хочет силою подчинить их одним внешним признакам; они требуют признания в них силы самостоятельной, духовной, и покоряясь только ей, подчиняются разгданым внешним признакам этой духовной силы, своего значения и смысла. Так и самый человек никак не покорялся вещественному взгляду ученых, отводивших ему место в животной природе по зубам и ногтям, а стал послушно на свое место, когда положили в основу бытия и различия его: разум, волю и бессмертную душу!

Итак, вот тот порядок, то устройство словаря, на которое составитель решился: собрать по семьям или гнездам все очевидно сродственные слова, устранив однако же предложные и те производные, в которых изменяются начальные буквы; это попытка на способ средний, между голословным и корнесловным словарями. В азбучном порядке, для отыскивающих известное слово, есть указания, где его искать, и кажется, с небольшим соображением и навыком, это никого не затруднит.

Причастия и деепричастия пропущены в словаре, для сокращения объема как известные по грамматике

части глаголов; но в сущности, *окруженный* и *округленный*, конечно, не ближе в родстве с глаголом своим, чем *округление* или *окружный*; и если прилагательное *округляемый* также подразумевается в глаголе *округлять*, то *округляемость*, как свойство, способность быть округляемым, требует в словаре своего места. Увеличительные, умалительные и пр. показаны иногда в примерах, а красным словом тогда только, когда за ними есть особое значение или когда они обратились в самостоятельные слова, утратив производный смысл, как напр. *рука* и *ручка, клеть* и *клетка* и пр.

Многие глаголы пополнены видами и, кажется, приведены в более ясный, отчетливый порядок, а спутываемые доселе в словарях, по сходству в некоторых частях своих, отделены и объяснены, как напр. *выкатывать, выкатать белье; выкатывать, выкатить бочку; выкачивать, выкачать воду; выкачивать, выкатить гривку, выкроить, вырезать*; вообще гл. *катать* и *качать, мешать* и *месить* и другие, особенно с предлогами, смешивались, и потому значение их объяснялось темно и запутанно. Показано также замечательное превращение глаголов, не изменяющих при сем ни одной буквы, а по одному только смыслу, из одного вида в другой, напр. *Я сроду не выхаживал за город*: это грамматики зовут видом многократным; *я выхаживаю в неделю весь город; выхаживаю, в рассылных, по рублю в день*, это вид неокончательный или неопределенный.

Предложные глаголы нельзя было, по корнесловному порядку, присоединять к простым или коренным: это бы слишком затруднило отыскание их, да притом многие из них сами наплодили такое обильное потомство, что требуют отдельного места; но при каждом коренном глаголе показаны примеры сочетания его со всеми подходящими к нему предлогами.

При словах, где казалось полезным указать на происхождение или родство их, хотя такие родичи нередко, в силу азбучного порядка, разнесены друг от друга, указание это сделано в скобках, иногда в виде намека и одним словом, а нередко и с вопросительным знаком, как дело нерешенное. Но это не значит, чтобы такое слово признавалось корнем, ни даже ближайшим сродником объясняемого слова, а оба они сведены только рядом, в чаянии однородства их, и указанием этим два разрозненные гнезда связываются промежуточным звеном. При сем составитель словаря старательно избегал ошибочного производства (чему множество примеров у Рейфа) и боялся приговоров в таком темном деле. Ошибочная натяжка слов к чужому корню, по одному созвучию, много вредит изучению языка, лишая слово природной связи и жизни. Корнеслов Шимкевича вообще составлен гораздо основательнее Рейфа и с русским чувством, но у него почти голый список корней, без показания относимых к нему слов, что нередко ставит читателя в недоумение; так, например, я не могу узнать, к какому корню относит он *бирка* и *бирюлька*: подходящего корня нет, а под *брать* показано одно только производное слово: *бремя*. Корня *бас* у него нет вовсе; куда же он относит *басый, баской, басить, басловка* и пр., — это неизвестно.

Указания на отечество чужих слов у меня вообще неполны и поверхностны; не пускаясь глубоко в корнесловие своего, а тем менее чужих языков, составитель указывает только на ближайший источник, на